

А. РЫЛЬКОВ, М. ГОНЧАРЕНКО

г. Кривой Рог

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЗЫ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА.

«Когда-то Д. Мережковский писал, что главный вопрос русской литературы—это вопрос о бытии Бога. Владимир Набоков был первым гениальным русским писателем, которому вопрос о бытии Бога заменил язык, бабочки и шахматные задачи».¹ Безусловно, впечатление, которое создается после знакомства с наследием В. Набокова, имеет совершенно противоположный знак, чем впечатление, производимое наследием русских классиков XIX века. Может быть, это и является в некотором роде разрывом с великой традицией, но в таком случае необходимо поставить вопрос о том, каким образом возникли условия, предопределяющие этот разрыв? И еще: почему человек, изначально принадлежавший русской действительности, с годами все более и более «пытался (сознательно или подсознательно —это уже другой вопрос) отпочковаться от этой изначально предопределенной «ментальности»? Эти вопросы, да и многие другие, которые могут возникнуть в этой связи, по существу являются разными сторонами одной медали, потому что сводятся в общем-то к тому, какое место занимает наследие В. Набокова в литературе XX века в целом, и чем это положение обусловлено.

Может быть одним из ответов на эти многочисленные вопросы будет рассуждение об экзистенциальной направленности прозы В. Набокова. Действительно, многие мотивы современного экзистенциализма можно найти в прозе автора, кого российская жизнь коснулась опаленным крылом революции и гражданской войны. Это такие мотивы, как бытие интеллигента в мире обывателей, одиночество и свобода, личность и тоталитарный строй, любовь и безнадежность, изгнанность из «рая» и стремление туда вернуться...

В. Набоков, его творчество—это тот момент в истории русской литературы, который по праву можно назвать началом новой эпохи. Но выглядит это не как преемственность, а как бескомпромиссное противостояние. Начинаящий поэт, печатающий свои стихотворные опыты под псевдонимом Сирип, предвосхищает то, что в дальнейшем станет предметом глубокого анализа критиков и теоретиков литературы: заброшенность человеческого «Я», экзистенции и мир чувственно воспринимаемых объектов. В этих стихотворных начинаниях подсознатель-

но (имманентно) присутствует мотив полного отчуждения. И было бы довольно сомнительно утверждать в этом случае «чужеродность» В. Набокова, хотя бы потому, что категории «отчуждения» и «противостояния» единичного (частного) есть основной леймотив произведений Ф. Достоевского, Л. Толстого и многих других представителей русской ментальности. Разница заключается лишь в том, что В. Набоков в отличие от своих маститых предшественников пытается избежать анализа этого положения экзистенции: он попросту констатирует факт, художественно его оформляя. Русскоязычная проза В. Набокова ничто иное, как попытка, если не возвращения, то запечатления какого-то первородного состояния человека, данного в откровении, которое у каждого, естественно, ассоциируется с детством.

Автор романа «Дар» представляет читателю и самому себе тот порыв, который имманентно присущ движению человеческого «Я»: порыв к «вечному возвращению» (одна из основных идей Ф. Ницше, объявившего на пороге XX века: «Бог умер»). Вся экзистенциальная философия XIX века и позже постулирована актом человеческого первопадения, отщепления, которое оказалось для него (человека) трагедией самонедостаточности. Что и как выведено у В. Набокова в его русскоязычной прозе на первый план, если не существование человеческой субстанции, заброшенной в поток бытийствующего мира и наделенной потенциальной возможностью познавательной деятельности, предопределяющей собой то состояние, в котором находится чувственно данный объективный мир. По сути дела, у В. Набокова все, в буквальном смысле, субъективно определено (на что не раз обращалось внимание критики), но помимо субъективная определенность каждой вещи и каждого персонажа произведения усиливается еще и субъективным аналитическим подходом автора, т. е. мы имеем дело с субъективностью субъективности, то не так уж сильно отличается от психологизма героев Ф. Достоевского.

Имеет смысл отметить, что психологизм Ф. Достоевского, взращенный на русской почве, в многом совпадающий с европейским экзистенциализмом, и субъективность в квадрате В. Набокова—проявление одной и той же направленности, как, на первый взгляд, это не звучит парадоксально. В русской литературе существовало, по крайней мере, несколько основополагающих направлений, которые почему-то названы предельно общо—реалистической литературой, чье дальнейшее развитие предполагало или таило в себе экзистенциальную тенденцию, но обусловлены при этом они были действительно общей ментальностью.

Еще в начале XIX века, наблюдая процесс преемственности в русской культуре, П. Чаадаев сделал довольно пророческий вывод о конгениальности русской культуры (следовательно, и русского духа).

Характерно, что изображая «рай» и свое изгнание из него, В. Набоков наделяет его какими-то особенными чертами русского быта и соотносит, скорее, с неопределенно абстрактной, может быть, несуществующей (и никогда не существовавшей) действительностью, не имеющей конкретных географических координат, которые есть у России, т. е. последняя является всего лишь каким-то метафизическим символом образа, так настойчиво призывающего к «вечному возвращению». Герой романа «Подвиг» Мартын подсознательно обречен на безысходное положение, и не только в Европе, дело обстоит гораздо сложнее, потому что он обречен на томление «в себе» и собой, прежде всего. И попытка «возвращения», предпринятая им, позволила Н. Набокову продемонстрировать всю тщетность надежды на возможное «возвращение» в реальной, действительной жизни, потому что символ, связанный с метафизической родиной, выражаясь условно, остается запредельным в состоянии отчужденности и неприкаянности. Роман «Подвиг» — своего рода демонстрация замещения истинного понятия ложным.

Многие критики пытаются разделить творчество Н. Набокова на два этапа, противопоставляя при этом один другому: русскоязычный и англоязычный. Этот подход кажется совершенно неуместным в виду того, что все наследие В. Набокова в целом представляет собой единый поступательный, эволюционный процесс анализа судьбы человеческого самосознания с момента его «изгнания из рая» вплоть до прекращения его существования в данном статусе бытия. Поэтому совершенно естественно рассмотрение англоязычной прозы В. Набокова как отражения тенденции конгениальности, с незапамятных времен кардинально определившей всю русскую культуру.

Бытие героев В. Набокова всегда находится в фокусе экзистенциальной заданности. Вопросы, которыми задаются (мучаются) персонажи романов, как бы predetermined гносеологией. Таким образом, человеческая экзистенция поставлена перед каким-то выбором, и то, на что указывает литературная критика: противостояние личности толпе, гений, обреченный на вечное одиночество и неприятие, буржуазность и пошлость и т. д., — это всего лишь внешняя атрибутика и не более; В. Набоков намного глубже пытается подойти к категории бытия человеческой акзистенции, нежели кажется поверхностному

взгляду. Так, в романе «Пнин» он пишет: «Не знаю, было ли уже кем-нибудь отмечено, что одним из главных условий продолжения жизни является ее укромность, сокрытость от глаз. Если оболочка плоти перестает окутывать нас, мы попросту умираем. Человек может существовать лишь до тех пор, пока он отгорожен от своего окружения. Череп—это шлем космонавта. Оставайтесь в его пределах, не то погибните. Смерть—это разоблачение, разделение, смерть—это приобщение и причастие»².

Безусловно, русскоязычная проза В. Набокова отличается от его позднейшего творчества тем, что в нем он пытается очертить тот круг проблем, подробное освещение которых только дано позже. Система метафорической символики раннего В. Набокова—это всего лишь штрих к тому портрету, который он будет писать всю жизнь. В том же романе «Пнин» автор четко определяет свое видение человеческого существования: «Разве, скажите мне, горе не единственное в этом мире, что по-настоящему принадлежит человеку».³ Разве не свидетельство данная установка В. Набокова тому, в чем писатель убежден, что самосознание, или сознание, наделенное возможностью познания и самопознания—одно из величайших наказаний. Сознание, (познавшее) овладевшее категоричностью добра и зла, несет в себе элемент ущербности и самоинициации, — утверждает С. Кьеркегор в середине XIX века и заключает логически, что спасение—вера. Но это экзистенциализм вчерашнего дня, а В. Набоков принадлежит целиком и полностью веку XX, когда провозглашено во всеулышание: «Бог умер», и потому, следуя принципу поступательного движения, он приходит к выводу об идеологической подоплеке религии, которая представляется ему сродни всем тем гипертрофированным тоталитарным режимам, с которыми столкнулось человечество текущего столетия. Принцип насилия абсолютно чужд В. Набокову, и его абсолютное неприятие во многом обусловило экзистенциальную направленность философии писателя. Мир, в котором пребывает герой (или метагерой) В. Набокова, изначально испорчен всеобщей фальшью и пошлостью, и в этом случае: «Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг своей собственной личности...»⁴. Но вся суть для В. Набокова заключается именно в определении самого понятия личности. Поэтому все романы суть попытки положения пределов, с помощью которых стало бы возможным проследить тезис становления личности, и что, может, самое главное—принцип ее обусловленности (причинности) и организации.

Свобода, открывающаяся человеку после познания добра и

метод» начинается с анализа именно этой взаимосвязи. Х.-Г. Гадамер со всей определенностью отмечает, что именно «понятие образования (Bildung) обозначило стихию, в которой существовали гуманитарные науки XIX века, даже если они не знали еще гносеологического обоснования» (Х. Г. Гадамер, Истина и метод. М., 1989, стр. 50). По мнению Х.-Г. Гадамера, «то что делает гуманитарные науки науками, скорее можно постичь, исходя из традиционного понятия образования, чем из методических идей современной науки» (Там же, стр. 59). Это во многом обусловлено тем обстоятельством, что для гуманитарных наук в целом, условия их существования кроются в образовании (См. там же, стр. 53). Аналогичные утверждения можно обнаружить и у В. Дильтея. Говоря о науках, о духе, В. Дильтей замечает: «Люди, посвятившие себя названным наукам, обычно движимы практическими потребностями общества, целями специального образования, которое в интересах общества вооружает его руководящие органы соразмерными их задаче познаниями». (Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. М., 1987, стр. 112). И далее: «Эти науки выросли в практике самой жизни, развились под влиянием требований специального образования, и система университетских факультетов, служащих обучению профессиям, является естественно развившейся формой их взаимосвязи. Их первые понятия и законы были нащупаны большей частью в ходе отправления социальных функций» (Там же, стр. 125).

Однако В. Дильтей и Х.-Г. Гадамер (в отличие от Р. Барта) вовсе не ограничиваются простой констатацией наличия взаимосвязи между гуманитарным знанием и потребностями университетского образования, и тем более они далеки от того, чтобы отрицать наличие какого-либо, отличного от целей университетского преподавания, единства гуманитарных наук. Так, В. Дильтей справедливо указывает на необходимость различия (и сочетания) исторического и систематического подходов в исследовании гуманитарного знания. В историческом плане, в плане становления и развития наук о духе, дело обстоит именно так как описано выше. Но исторической перспективой проблема вовсе не исчерпывается и поэтому в систематическом плане все же необходимо «выйти за пределы практики и открыть универсальное членение наук, имеющих предмет социально-историческую действительность» (Там же, стр. 125).

В самом деле. Потребности образования служили (и служат) для гуманитарных наук таким же источником и движущей силой развития, каким для естественных наук служат потребности непосредственной практической деятельности человека. И

это вполне объяснимо, ведь речь идет о науках о духе, а, как показал Х.-Г. Гадамер в ходе осуществленного им тщательного анализа понятия образования, «бытие духа в существенной степени связано с идеей образования» (Х.-Г. Гадамер, цит. соч., стр. 53). Образование—это «стихия духа», и в процессе образования происходит формирование и становление духа как такового. Таким образом, сфера образования по существу является единой (и единственной) практической сферой для гуманитарных наук, в этой сфере кроются условия их существования. Однако такое практическое единство не есть методологическое единство и наличие первого вовсе не исключает наличия второго. Развитие естественных наук непосредственно определяется запросами человеческой деятельности в природном мире (хотя и не только этим!), но по-видимому неправомерно было бы лишь на этом основании утверждать, что методология естествознания невозможна.

То же самое справедливо и в отношении гуманитарных наук. То обстоятельство, что они развивались и развиваются благодаря (но не исключительно!) определяющему воздействию потребностей образования, не может служить достаточным основанием для отказа от поисков их единой методологической основы.

Таким образом, вышеприведенная точка зрения Р. Барта представляется не вполне обоснованной и «выход за пределы практики», по-видимому, совершенно необходим также и когда речь идет о гуманитарном знании.